

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Фет - Михайлов - "Размышления у парадного подъезда" - Арест Тургенева - Лев Толстой

А.А.Фет уже был известен своими стихотворениями в литературе с 40-х годов; но я познакомилась с ним только в начале 50-х годов. Он приехал в Петербург на продолжительное время в отпуск из полка, и я виделась с ним каждый день. Фет находился в вдохновенном настроении и почти каждое утро являлся с новым стихотворением, которое читал Некрасову, мне и всем литераторам, кто просил его прочесть. Тургенев находил, что Фет так же плодовит, как клопы, и что, должно быть, по голове его проскакал целый эскадрон, от чего и происходит такая бессмыслица в некоторых его стихотворениях. Но Фет вполне был уверен, что Тургенев приходит в восторг от его стихов, и с гордостью рассказывал, как после чтения Тургенев обнимал его и говорил, что это лучшее из написанного им.

Фет задумал издать полное собрание своих стихов и дал Тургеневу и Некрасову *carte blanche* выкинуть те стихотворения из старого издания, которые они найдут плохими [148].

У Некрасова с Тургеневым по этому поводу происходили частые споры. Некрасов находил ненужным выбрасывать некоторые стихотворения, а Тургенев настаивал. Очень хорошо помню, как Тургенев горячо доказывал Некрасову, что в одной строфе стихотворения:

"Не знаю сам, что буду петь, - но только песня зреет!" - Фет изобличил свои телячьи мозги.

У меня сохранился экземпляр стихотворений Фета с пометками и вопросительными знаками, сделанными рукой Тургенева.

Н.В.Гербель познакомился также в начале 50-х годов с Панаевым. Гербель явился к Панаеву без всяких рекомендаций и часто бывал у него по утрам, но всегда сидел в кабинете. Он долго не входил в кружок литераторов, которые собирались у нас на обеды и вечера. Причина была та, что Тургенев раз подсмеялся над Панаевым.

- Господа, - сказал он, - Панаев открыл новый талант и возится с ним, как с будущим замечательным писателем, потому что первое произведение этого юного офицера имеет очень важное значение для русской литературы, а именно: "История Изюмского полка", написанная и изданная этим офицериком по приказанию командира полка.

Панаев обидчиво ему заметил:

- Уж ты бы, Тургенев, молчал! Да и за что ты обижаешь Гербея? Он мне читал все свои переводы из Гейне, и мне кажется, что он очень недурно владеет стихом.

- О многострадальный Гейне! - воскликнул Тургенев, - почему-то это излюбленный поэт, над уродованием стихов которого все упражняются, причем всякий воображает, что достаточно перевести два-три стихотворения Гейне, чтобы иметь право считать себя литератором. Ну, признайся, Панаев, у тебя есть слабость разыгрывать роль литературного покровителя?

- Гербель по крайней мере грамотный, - отвечал Панаев, - а ты мне прислал третьего дня какого-то франтика с рукописью и рекомендательным письмом, так твой франтик даже безграмотный.

Тургенев засмеялся и сказал:

- Я это сделал, чтобы избавиться от франтика, а ты по три часа беседуешь с офицериком, да еще всех знакомишь с ним. Входить скоро невозможно будет к тебе в кабинет [149].

Когда Гербель издал "Слово о полку Игоря", то Тургенев не называл его иначе, как "Изюмский Игорь".

Мне часто приходилось слышать, как многие люди восхищались редкой чертой в характере Тургенева - искренностью. Он так был умен, что когда хотел, то мог очаровать всякого.

В 50-х годах в кружок литераторов "Современника" вошел Михаил Ларионович Михайлов, автор романов "Адам Адамыч", "Перелетные птицы" и др. Наружность его была очень оригинальна; маленький, худенький, с остренькими чертами лица и с замечательно черными, густыми бровями. Веки глаз у него были полузакрыты; в детстве ему делали операцию, но все-таки веки лишены были способности подыматься, вследствие чего глаз почти не было видно, и Михайлов носил большие очки; губы у него были до того яркого цвета, что издали бросались в глаза.

Михайлов сшил себе летний серый костюм, и Тургенев уверял, что в сумерки он может испугать, так он похож на летучую мышь.

Я не имела случая проверить, правду ли рассказывали про Михайлова некоторые его приятели, будто он считал себя победителем женских сердец и уверял, что никакая добродетельная женщина не устоит против него. Мне кажется, что Михайлов подсмеивался над ними, рассказывая о своих победах, и наблюдал, как быстро тайна, сообщенная одному по секрету, делалась известна всем.

Михайлов был очень веселого и живого характера, и на него смотрели, как на человека, который ни о чем другом не думает, как о победах над женщинами [150]...

Панаев в своих "Воспоминаниях" часто упоминает о своем школьном товарище М.А.Языкове, находившемся со всеми литераторами на дружеской ноге[151].

Когда он женился, то у него раз в неделю вечером собирались многие писатели. Даже когда Языков жил на стеклянном казенном заводе, где получил место, то, несмотря на дальнейшее расстояние, собрания у него все-таки не прекращались. Панаев упоминает о том, что рукопись "Обыкновенной истории" Гончарова была доставлена в "Современник" Языковым.

Некрасов также принес Языкову свою рукопись "Петербургские углы", прося, чтобы он ее прочитал.

Свояченица Языкова рассказывала мне о первом посещении Некрасова. Это было зимой. У Языкова обедали гости; вдруг кто-то позвонил в передней; она вышла из-за стола, чтобы узнать, кто пришел, и увидела худого, бледного молодого, человека, в поношенном холодном пальто, которого лакей грубо выпроваживал вон. Она поспешила остановить грубого лакея и провела молодого человека в кабинет хозяина, которого и вызвала из-за стола к посетителю. Она была в полной уверенности, что это какой-нибудь несчастный проситель на бедность; но она ошиблась: молодой человек просил Языкова прочитать и передать принесенную рукопись Белинскому. По забывчивости Языкова, рукопись не скоро попала в руки Белинского, который за это очень на него рассердился, главное же, Языков затерял адрес молодого человека.

- Это возмутительно, так относиться к людям, - говорил Белинский. - По вашему описанию и по содержанию его рукописи надо было дорожить каждым днем, чтобы принять в нем участие, а вы еще и адрес его затеряли! Небось, если бы к вам подкатил на лихаче какой-нибудь франтик, так вы бы не поступили так не-, брежно с его рукописью и не забыли бы его фамилию, а запомнили бы не только имя, но и отчество.

Этот выговор очень огорчил Языкова и произвел на него такое впечатление, что в продолжение всей своей жизни он вечно о ком-нибудь хлопотал или исполнял чьи-нибудь поручения самым ревностным образом. По счастью, автор рукописи опять явился узнать о своей участи в тот день, когда Белинский сидел у Языкова. Оба они чрезвычайно обрадовались приходу молодого человека.

Вот каким образом состоялось первое знакомство Белинского с Некрасовым.

Это мне было рассказано чрез 15 лет после моего знакомства с Некрасовым [152].

Я слышала от самого Некрасова, как он бедствовал некоторое время в начале своего пребывания в Петербурге.

Он с юмором передавал, как с неделю прожил в пустой комнате, потому что его квартирная хозяйка, желая выжить своего жильца, в его отсутствие вынесла всю убогую мебель из комнаты, а Некрасов спал на голом полу, подложив пальто под голову, а когда писал, то растягивался на полу, уставая стоять на коленях у подоконника.

На моих глазах произошло почти сказочное превращение в наружной обстановке и жизни Некрасова. Конечно, многие завидовали Некрасову, что у подъезда его квартиры по вечерам стояли блестящие экипажи очень важных особ; его ужинами восхищались богачи-гастрономы; сам Некрасов бросал тысячи на свои прихоти, выписывал из Англии ружья и охотничьих собак; но нельзя, чтобы кто-нибудь видел, как он по двое суток лежал у себя в кабинете в страшной хандре, твердя в нервном раздражении, что ему все опротивело в жизни, а главное - он сам себе противен, то, конечно, не завидовал бы ему...

В хандре он злился на меня за то, что я уговаривала его изменить свой образ жизни, который доставлял ему по временам такие мучительные страдания; я припоминала ему, что, несмотря на все лишения прежней своей жизни, он не испытывал такого убийственного настроения духа. Некрасов находил, что я будто бы нарочно усиливаю своими разговорами его и без того ужасное настроение.

- Чем бы развлечь человека, а вы его добиваете,

- Развлекателей у вас развелось с тех пор много, как вы сделали капиталистом, - отвечала я. Некрасов раздражительно прерывал меня:

- Я не так глуп, чтобы не видеть перемены в отношении к себе людей, начиная с невежд и кончая образованными.

Потом уже я поняла, что в самом деле глупо возбуждать подобные вопросы, когда от них не могло быть иного результата, кроме неприятного впечатления, остающегося после таких разговоров.

Стихотворение "У парадного подъезда" было написано Некрасовым, когда он находился в хандре. Он лежал тогда целый день на диване, почти ничего не ел и никого не принимал к себе.

Накануне того дня, как было написано это стихотворение, я заметила Некрасову, что давно уже не было его стихотворений в "Современнике".

- У меня нет желания писать стихи для того, чтобы прочесть двум-трем лицам и спрятать их в ящик письменного стола... Да и такая пустота в голове: никакой мысли подходящей нет, чтобы написать что-нибудь.

На другое утро я встала рано и, подойдя к окну, заинтересовалась крестьянами, сидевшими на ступеньках лестницы парадного подъезда в доме, где жил министр государственных имуществ.

Была глубокая осень, утро было холодное и дождливое. По всем вероятностям, крестьяне желали подать какое-нибудь прошение и спозаранку явились к дому. Швейцар, выметая лестницу, прогнал их; они укрылись за выступом подъезда и переминались с ноги на ногу, прижавшись у стены и промокая на дожде.

Я пошла к Некрасову и рассказала ему о виденной мною сцене. Он подошел к окну в тот момент, когда дворники дома и городской гнали крестьян прочь, толкая их в спину. Некрасов сжал губы и нервно пощипывал усы, потом быстро отошел от окна и улегся опять на диване. Часа через два он прочел мне стихотворение "У парадного подъезда".

Некрасов писал прозу, сидя за письменным столом и даже лежа на диване; стихи же он сочинял, большею частью, прохаживаясь по комнате, и вслух произносил их; когда он оканчивал все стихотворение, то записывал его на первом попавшемся под руку лоскутке бумаги.

Он делал мало поправок в своих стихах. Если он сочинял длинное стихотворение, то по целым часам ходил по комнате и все вслух однообразным голосом произносил стихи; для отдыха он ложился на диван, но не умолкал; потом снова вставал и продолжал ходить по комнате. Некрасов мог прочесть наизусть любое из своих стихотворений, когда бы то ни было сочиненных. Как бы оно ни было длинно, он не останавливался ни на одной строфе, точно читал по рукописи. Впрочем, он помнил наизусть массу стихотворений и других русских поэтов.

В 1852 году, вскоре после смерти Гоголя, Тургенев посадили в часть за то, что он напечатал в Москве маленькую статейку о Гоголе, которую цензор не пропустил в Петербурге [153]. От высшего начальства дано было приказание ничего не пропускать о Гоголе, вследствие того, что в Москве на похоронах Гоголя собралась масса народу и присутствовали официальные особы. В то время строго смотрели, чтобы литераторам не оказывали особенных почестей.

Тургенев был в отчаянии, когда запретили его статейку, и говорил Некрасову и Панаеву, что пошлет ее в Москву.

Панаев не советовал ему этого делать, потому что и так Тургенев был на замечании вследствие того, что носил траур по Гоголю и, делая визиты своим светским знакомым, слишком либерально осуждал петербургское общество в равнодушии к такой потере, как Гоголь, и читал свою статейку, которую носил с собой всюду. Эта статейка была уже перечеркнута красными чернилами цензора. Когда Панаев упрасивал Тургенева быть осторожным, то он на это ответил: "За Гоголя я готов сидеть в крепости".

Вероятно, эту фразу он повторил еще где-нибудь, потому что Л. В. Дубельт, встретясь на вечере в одном доме с Панаевым, с своей улыбкой сказал ему: "Одному из сотрудников вашего журнала хотелось посидеть в крепости, но его лишили этого удовольствия". Арест Тургенева произвел большой переполох. Панаев и Некрасов навещали его сперва ежедневно утром и вечером, но потом реже, потому что Тургенев иногда давал знать рано утром, чтобы к нему не приходил никто из них. Первое такое известие испугало Некрасова и Панаева; они думали, что Тургеневу грозит бог знает какая опасность, но потом оказалось, что в эти дни он ждал посещения своих знакомых из высшего круга. Мне арест Тургенева доставил также много хозяйственных хлопот. Тургенев просил Панаева, чтобы он присылал ему обед, так как не может есть обедов из ресторана. И пока он, если не ошибаюсь, три недели сидел в части, я должна была заботиться, чтобы в назначенный час ему был послан обед.

После похорон Гоголя, дня через четыре, у Панаева вечером собрались гости и, разумеется, разговор вращался около болезни и смерти Гоголя и его похорон, Тургенев возмущался равнодушием петербургского общества и, между прочим, сказал:

- Я теперь убедился, что взгляд москвичей правилен, а Петербург - представитель чиновничества и лакейства.

И.П.Арапетов вспылал. "По-вашему, надеть креп на шляпу..." - начал он. Но Н.А.Милютин перебил его, спросив Тургенева: "Расскажите, пожалуйста, подробности о похоронах Гоголя; вы, вероятно, ведь ездили в Москву?"

Тургенев не вдруг ответил: "Я был болен". Милютин произнес протяжно: "Да! Я слышал о похоронах от одного пожилого чиновника, который отпросился у меня съездить на похороны, говоря, что хотя при жизни ему не удалось видеть такого замечательного писателя, то хоть на мертвого посмотрю".

Об освобождении Тургенева из-под ареста хлопотали многие, в том числе и Панаев, который ездил, по просьбе Тургенева, к разным лицам, имевшим доступ к влиятельным особам.

По выходе из-под ареста, Тургенев был выслан в свою деревню, и ему лишь осенью 1853 года разрешено было приехать в Петербург.

Недели через три после смерти Гоголя, князь Д.А. Оболенский прочитал у Панаева вторую часть "Мертвых душ" [154]. Князю Оболенскому удалось списать в Москве эту часть с оригинала, и он читал ее своим знакомым. Оболенский коротко был знаком с Гоголем при его жизни и с теми, кто в последнее время был близок к Гоголю. Оболенский отлично читал; слушателей было немного, так как надо было принимать все меры предосторожности, чтобы не узнали о пропаганде второй части "Мертвых душ", печатание которой тогда было немислимо.

В том же 1852 году, в октябрьской книжке "Современника", под инициалами Л.Н.Т. была напечатана "История моего детства" - первое произведение графа Льва Николаевича Толстого [155].

Со всех сторон от публики сыпались похвалы новому автору, и все интересовались узнать его фамилию. В кружке же литераторов относились как-то равнодушно к возникавшему таланту, только один Панаев был в таком восхищении от "Истории моего детства", что каждый вечер читал ее у кого-нибудь из своих знакомых. Тургенев трунил над Панаевым, уверяя, что все его знакомые прячутся от него на Невском, боясь, чтобы он им и там не стал читать выдержки из этого сочинения, так как Панаев успел наизусть выучить произведение нового автора. Панаев обиделся подтруниванием Тургенева и сказал ему:

- Меня удивляет, что ты так равнодушно относишься к такой художественной вещи и не радуешься появлению нового таланта?

Тургенев пожал плечами и отвечал:

- А меня удивляет, как вы щедры на похвалы; чуть появится новичок в вашем журнале, сейчас начинаете кричать: талант! Отыскиваете в его пробе пера художественность! Я объясняю это тем, что вы мало знакомы с истинно художественными произведениями в иностранной литературе, а если что и читали, то в слабом переводе, вот вы и впадаете в сметное преувеличивание заурядных вещиц. Не только в ваших пигмеях, но даже в Пушкине, в Лермонтове, если строго разобрать, не много найдешь оригинальных художественных произведений. Когда их читаешь, то на каждом шагу натыкаешься на подражание гениальным европейским талантам, как, например, Гёте, Байрону,

Тургенев более всех современных ему литераторов был знаком с гениальными произведениями иностранной литературы, прочитав их все в подлиннике. Некрасов и Панаев это хорошо сознавали.

- Да, Россия отстала в цивилизации от Европы, - продолжал Тургенев, - разве у нас могут народиться такие великие писатели, как Данте, Шекспир?

- И нас Бог не обидел, Тургенев, - заметил Некрасов, - для русских Гоголь - Шекспир.

Тургенев снисходительно улыбнулся и произнес:

- Хватил, любезный друг, через край! Ты сообрази громадную разницу. Шекспира читают все образованные нации, на всем земном шаре уже несколько веков и бесконечно будут читать.

Это мировые писатели, а Гоголя будут читать только одни русские, да и то несколько тысяч, а Европа не будет и знать даже о его существовании!

Тяжко вздохнув, Тургенев уныло продолжал:

- Печальна вообще участь русских писателей, они какие-то отверженники, их жалкое существование кратковременно и бесцветно! Право, обидно: даже какого-нибудь Дюма все европейские нации переводят и читают.

- Бог с ней, с этой европейской известностью, для нас важнее, если б русский народ мог нас читать, - сказал Некрасов.

- Завидую твоим скромным желанием! - ироническим тоном отвечал Тургенев. - Не понимаю даже, как ты не чувствуешь пришибленности, пресмыкания, на которые обречены русские писатели? Ведь мы пишем для какой-то горсточки одних только русских читателей. Впрочем, ты потому не чувствуешь этого, что не видел, какое положение занимают иностранные писатели в каждом цивилизованном государстве. Они считаются передовыми членами образованного общества, а мы? Какие-то парии! Не смеем высказать ни наших мыслей, ни наших порывов души - сейчас нас в кутузку, да и это мы должны считать за милость... Сидишь, пишешь и знаешь заранее, что участь твоего произведения зависит от каких-то бухарцев, закутанных в десяти халатах, в которых они преют, и так принялись к своему вонючему поту, что чуть пахнет на их конусообразные головы свежий воздух, приходят в ярость и, как дикие звери, начинают вырывать куски из твоего сочинения! По-моему, рациональнее было бы поломать все типографские станки, сжечь все бумажные фабрики, а у кого увидят перо в руках, сажать на кол!.. Нет, только меня и видели; как получу наследство, убегу и строки не напишу для русских читателей.

- Это тебе так кажется, а поживешь за границей, так потянет тебя в Россию, - произнес Некрасов. - Нас ведь вдохновляет русский народ, русские поля, наши леса; без них, право, нам ничего хорошего не написать. Когда я беседую с русским мужиком, его бесхитростная здравая речь, бескорыстное человеческое чувство к ближнему заставляют меня сознавать, как я развращен перед ним, и сердцем, и умом, и краснею за свой эгоизм, которым пропитался до мозга костей... Может быть, тебе это кажется диким, но в беседах с образованными людьми у меня не появляется этого сознания! А главное, на русских писателях лежит долг по мере сил и возможности раскрывать читателям позорные картины рабства русского народа.

- Я не ожидал именно от тебя, Некрасов, чтобы ты был способен предаваться таким ребяческим иллюзиям.

- Это не мои иллюзии, разве **не** чувствуется это сознание в обществе?

- Если и зародилось сознание, так разве в виде атома, которого человеческий глаз не может видеть, да и в воздухе, зараженном миазмами, этот атом мгновенно погибнет... Нет, я в душе европеец, мои требования от жизни тоже европейские! Я не намерен покорно ждать участи, когда наступит праздник и мне выпадет жребий быть съеденным на пиршестве людоедов! Да и квасного патриотизма не понимаю. При первой возможности убегу без оглядки отсюда, и кончика моего носа не увидите!

- В свою очередь и ты предаешься ребяческим иллюзиям. Поживешь в Европе, и тебя так потянет к родным полям и появится такая неутолимая жажда испить кисленького, мужицкого квасу, что ты бросишь цветущие чужие поля и возвратишься назад, а при виде родной березы от радости выступят у тебя слезы на глазах.

Подобные разговоры я слышала множество раз, и они остались у меня в памяти. Я передаю только один из них.

Некрасов был прав, говоря, что Тургенев не в силах будет совсем бросить русские поля; он возвращался к ним, чтобы воодушевить себя к работе. Тургенев успел при жизни

насладиться тем, что не горсточка русских, а все грамотные люди в России читают его произведения и оценивают в нем замечательного писателя, да и иностранцы переводят и читают его сочинения. Ему уже нельзя было жаловаться на жалкую долю русского писателя, о существовании которого цивилизованные европейские народы не узнают.

Не помню с точностью, когда в первый раз появился перевод на французском языке некоторых рассказов из "Записок охотника" [156]. Я была в Париже в то время, как переводились эти рассказы. К несчастью, я страдаю отсутствием памяти на года и фамилии, а потому и оговариваюсь, что, кажется, это происходило в половине 50-х годов, и фамилия переводчика была Делаво; но повторяю, что, может быть, и то и другое не точно. Зато я отлично помню жалобы Тургенева на переводчика, которые мне приходилось слышать.

Тургенев говорил в отчаянии:

- Боже мой, какое несчастье иметь дело с такой тупицей! Разжую ему каждую фразу, в рот положу. Нет, не умеет передать ее на французский язык. Я должен сам переводить себя, а он только пишет под мою диктовку, и смеет еще изъяслять разные свои претензии на меня!.. Просто дурында какая-то, проработаешь с ним утро, - голова затрещит!

Переводчик с своей стороны, приходя иногда ко мне вечером пить чай, - жаловался:

- Опять у меня даром утро пропало, сидел несколько часов в номере у Ивана Сергеевича, а он не явился, хотя сам назначил час, когда я должен прийти; а еще все сердится, что туго подвигается у нас перевод...

- Тургенев всегда отличался рассеянностью, - замечала я переводчику.

- Но он знает, как тяжела для меня потеря времени. Сам он предложил мне переводить его рассказы. Мне не легко было уломать редакцию "Revue des Deux Mondes", чтобы поместить перевод русского писателя, гонорар я получу из журнала самый ничтожный, а сколько времени потеряю!

В то время французы мало интересовались русской литературой.

- Зачем же вы не условились, чтобы Тургенев вам заплатил за перевод?

- Иван Сергеевич так хорошо говорил, когда предложил мне переводить его рассказы, что я согласился на все его условия. Я не ожидал, чтобы он так небрежно мог относиться к человеку, трудящемуся из-за куска хлеба.

Переводчик чуть ли не с детства жил в Москве, где, кажется, давал уроки французского языка. Он переселился в Париж, уже лет 30, где существовал на скудный заработок, переводя из русских газет разные известия во французские газеты; переводчик знал в Москве некоторых литераторов и коротко был знаком с В.П. и Н.П. Боткиными; последний меня и познакомил с ним [157]. Я уехала из Парижа, когда перевод не был окончен; помню, что русские литераторы завидовали Тургеневу в том, что его произведения переведены французами.

Считаю необходимым сказать несколько слов о Николае Петровиче Боткине. Он очень много помогал за границей русским художникам и учащимся там молодым людям, да и вообще всем беднякам, если узнавал, что кто-нибудь из них нуждается в деньгах. Он это делал так деликатно, втихомолку, что если и узнавалось об этом, то от самих тех лиц, кому он оказывал денежную помощь. Я знаю, что Н.П.Боткин не раз ссужал деньгами художника А.А.Иванова, когда тот находился за границей, и это я узнала от третьего лица.

В 1857 году, в бытность мою в Риме, Н.П.Боткин повез меня к братьям Ивановым, предупредив, впрочем, что вряд ли я увижу художника А.А. Иванова и его квартиру, потому что он сделался совершенно нелюдимым и вообразил, что его хотят отравить, закупает себе провизию в разных лавках и сам ходит за водой к фонтану. Архитектор Сергей А. Иванов жил с

братом, и мы приехали к нему смотреть акварельные рисунки. Он восстановил Помпею в том виде, в каком она была до разрушения, так что, когда я потом осматривала развалины Помпеи, то эти акварели способствовали мне рельефнее составить себе понятие о древних римских дачных жилищах.

В то время, как мы рассматривали акварели, вдруг отворилась дверь и появился худой господин небольшого роста, с болезненным и мрачным выражением лица, одетый в поношенное платье. Я догадалась, что это, должно быть, художник А.А.Иванов. Он приветливо поздоровался с Н.П.Боткиным, пожал мне руку, когда нас познакомили, и сказал: "Продолжайте-с рассматривать рисунки, они очень-с интересны, брат много положил труда на них", - отошел от стола и уселся в кресло вдали. Я осторожно взглядывала на художника, имевшего изнуренный, убитый вид. Он ни слова не произнес и как будто все к чему-то прислушивался. Вдруг он быстро встал и торопливо ушел из комнаты.

Его брат, смотря ему вслед, с грустью сказал:

- Верно, ему показалось, что кто-то идет сюда; он избегает приходить ко мне в комнату, даже когда я один, а если придет, то требует, чтобы никто из знакомых не увидал его. Только это он для вас, Николай Петрович, сделал исключение, что пришел поздороваться с вами.

Н.П.Боткин заметил архитектору, что ему необходимо бы уговорить брата лечиться и увезти его куда-нибудь из Рима.

- Слышать не хочет о лечении, уверяет, что он совершенно здоров, - отвечал архитектор.

Мы продолжали рассматривать рисунки, которые архитектор объяснял нам. Вдруг послышались два удара в потолок; архитектор сказал нам: "Извините, я сейчас вернусь, - это брат зовет меня к себе наверх", - и ушел.

Вскоре он вернулся с папкой в руке, говоря:

- Чудеса! сам предложил показать вам свои эскизы!.. и просил вас, Николай Петрович, зайти к нему на минуточку наверх; давным-давно никого к себе не впускал.

Архитектор, показывая нам эскизы брата, указывал на те фигуры, которые изображены на его картине, и говорил:

- Конца, кажется, не будет его поправкам в картине. Несколько дней совершенно доволен своей картиной, а потом найдет у одной фигуры лицо невыразительным, у другой позу нехорошей - впадает в отчаяние, начинает опять делать поправки. В это время боишься ему слово сказать, так он бывает раздражителен.

Не знаю, какая была обстановка у художника Иванова, но у архитектора мебель была очень ветхая, да и в очень ограниченном количестве; два больших простых стола, стоявшие у окна, были завалены папками и гипсовыми моделями церквей и древних римских колонн и фонтанов.